
Павел МЕЙЛАХС

ГОРЕ

Рассказ

Стоял не то октябрь, не то уже ноябрь. За окном темень, ненастье. Это было время, которое можно было только терпеть, сделать ничего было нельзя.

А он был дома. В тепле и при свете. Света было даже слишком много, он забывал его выключать, переходя из одной комнаты в другую. Свет горел и на кухне. Он то слонялся по квартире, то ложился на кровать лицом вниз, чтобы было темно, чтобы было нигде. Он ничего не хотел видеть, точнее, не мог. Слишком много было света, слишком много предметов. Все было ужасно в своей знакомости, в своей виденности миллион раз. Глаза не могли выносить, он не мог выносить.

Но и лежать долго он тоже не мог. Тогда он оставался совсем уж один на один с собой, и этого тоже он не мог выносить.

Он не мог выносить ничего. И нигде для него не было места.

Позабыт, позаброшен... Его просто выкинули. Да как же это...

Горе. У него было горе. Его можно было только терпеть, сделать ничего было нельзя.

Это было словно интоксикация горем. Он был словно больным, каким-то гриппозным, какие-то вирусы жили в нем и отравляли его.

Вечер тянулся и тянулся, не собираясь кончаться. Горели люстры. За окном ветер с необъяснимой свирепостью делал, что хотел. И иногда становилось совсем кошмарненько.

Он глядел на занавешенные окна, невольно представлял, что творит за окнами ветер, потом взгляд падал на горящие люстры, и в первый момент ему казалось, что люстры слегка покачиваются.

Когда становилось совсем кошмарненько, он усиливал, интенсифицировал свое хождение по квартире, всматривался в нее, словно заклиная родные стены помочь. Но мебель, шкафы с книгами, окна с занавесками, батареи отопления не помогали — как хвататься за воздух. Само хождение слегка помогало. Становилось вроде как легче, он как бы забывал. Но потом опять вспоминал, будто очнувшись, и все опять становилось кошмарненько. Как бы он себя ни вел, отменить случившееся было невозможно.

Когда же это кончится?

Сейчас бы пойти к корешу, кореш бы выскочил, покурили бы возле мусоропровода, побазарили. Но кореша теперь не было. В этом-то и суть. Хоть кореш был жив, слава богу, здоров и жил там же, где и всегда.

У него давно валялась пластинка в зеленом конверте. Элис Купер. *Billion Dollar Babies*. Пластинку ему дал Рыбаков, с которым они так недавно, лето и осень назад, учились в параллельных классах. Иногда он ее ставил. Начиналось довольно браво,

Павел Александрович Мейлахс (1967–2021) родился в Ленинграде. Окончил математико-механический факультет ЛГУ. Автор трех книг, дважды лауреат журнала «Звезда».

он и ставил ее, чтоб как-то мысленно приосаниться. Hello, hurray! Немного приободрялся, но помогало плохо. Он выключал пластинку. Потом ставил в другом месте. Хорошая, кстати, пластинка.

А всего-то, казалось бы, делов. С неделю назад, может, больше кореш позвонил ему и, возбужденный, ошалевший, сообщил, что в своем последнем походе, с палатками и гитарой у костра, он познакомился с бабой и они там трахнулись. Слово «трахаться» он узнал относительно недавно и сам ошелел, услышав его в такой близости от себя.

Они еще долго тараторили по телефону. В тот день он еле заснул.

Он ни в какие походы не ходил и ни с кем не трахался. Он был невинен, как папа римский.

А новое слово «трахаться», к слову сказать, ему не понравилось, показалось невыразительным, неталантливым.

Вообще-то, потрахаться он был и сам не прочно, тем более что в его возрасте невинность становилась уже малость неприличной. Девушки, любовь... И траханье — так положено, таков канон. Несколько странно, но надо — значит надо.

Все эти «гендерные» штуки, конечно же, не оставляли его равнодушным. Так сладостно было сознавать, что есть еще целая прекрасная область жизни, волновавшая его со времен Майна Рида, которую ему только предстоит освоить. Волнующее предвкушение. Однако событий он не торопил. Все вокруг об этом говорили, но он машинально пропускал все это мимо ушей, как какой-нибудь футбольный чемпионат. С детства все что-то болтают, врут... Он привык не слушать, что говорят вокруг, разве только невольно. Например, на всю жизнь засело слово «Марадона».

Конечно, были и фантазии, и желания куда менее невинные, мягко говоря. Но они не задевали самую суть его, в отличие от других, «идеальных».

Так что все эти «за сиськи подержался», ну и т. д. и т. п. не имели отношения ни к нему, ни к корешу, ни к их небольшой компании.

Казалось бы, не имели. Пока кореш грубо не поставил его перед фактом. Как будто пробил брешь. И оттуда потянуло холодом в его уютненькую колыбельку.

Он нимало не завидовал корешу, он был рад за него, в конце концов, все это было дико интересно, пока не понял, что это значит лично для него.

Она была совершенно обыкновенная, каких вокруг тыщи. Но он понимал, что это неважно. У нее были свои преимущества, выражаясь более нейтрально, — свойства, которыми он не располагал.

Отчего-то засело в памяти. Они сидят на кухне у кореша, кореш со своей изучают принесенную из универа распечатку, внося туда изменения и дополнения. Им обоим очень интересно, они перебивают друг друга, иногда даже стараясь перехватить одну на двоих ручку. «Подожди, подожди», — то и дело говорит она. Она произносила не «подожди», а на тот манер, каким в кино иногда произносят слово «дождь» — «дощць». А он сидел напротив них, чувствуя себя третьим лишним, хотя в гости к корешу отнюдь не напрашивался. «Подожжь, подожжь» — отдавалось в голове.

И так оно и пошло. Напрашиваться в их компанию третьим лишним было нелепо, а у кореша как-то все не оказывалось времени для него. Да и интереса. Ему было куда пойти, где (с кем) было по-настоящему интересно.

И теперь у него нет кореша. Она увела его, он радостно ушел с ней. (Тогда он еще не знал, что поступил бы точно так же. Он вообще не знал, что, как бы дико это ни

звучало, бабы вообще важней по жизни — именно вокруг них, как правило, строит свою жизнь человек, удачно или неудачно. Ему тогдашнему такое было не уразуметь.)

Не было у него теперь кореша. Хотя и парадняк оставался тем же — метров двадцать наискосок от него, и этаж тот же самый — второй, и квартира та же — седьмая, и звук дверного звонка, и балкон, на котором было пересижено, переговорено, перекурено, и мусоропровод, во многом выполнивший функции балкона, они вокруг него собирались, вдвоем, втроем, вчетвером — все это было теперь не его. Хотя вряд ли ей было дело до мусоропровода и дверного звонка.

Какой там мусоропровод, сам кореш никуда не делся — можно было хоть потрогать его. Они продолжали видеться, правда, намного реже, короче. Но он был теперь не его. Хотя, чего греха таить, видеть его было большим облегчением. Он на время забывал, хотя бы отчасти, что кореш теперь не его. Ее частое присутствие рядом его не тяготило. Вообще, с ней у него установились ровные, никакие отношения.

Как быстро это произошло! Мгновенно.

Иногда он не выдерживал и, стараясь не замечать некоторого презрения к себе, сидел у окна, как бабка, ждал, когда они пойдут из университета. Не всегда, но относительно часто дожидался. Они входили под арку, вход в их общий двор, пересекали его и скрывались в парадняке кореша. Они были весьма увлечены друг другом. Никто им был не нужен.

И он им был не нужен. Вернее, с ней-то хрен, — корешу не нужен.

Хоть вой.

...Он вспомнил, как у кореша умер отец.

Было это давно, как бы не года три назад. Конец восьмого класса и начало мая. Было уже долго светло. И тепло, хотя под вечер, когда солнце под гору, довольно зябко. Деревья стояли нежные. Летняя грусть пока их не захватила.

Уже третий день, как кореш куда-то подевался. Немыслимо! Они жить не могли друг без друга, каждый день общались и в школе, и после нее. Но он уже звонил корешу. Трубку взял какой-то незнакомый дядька, сказал, что кореш подойти не может, ничего объяснять не стал. Дядька был не кореш, не корешева мамаша и даже не корешев отец. Странно...

На другой день он опять позвонил, и опять то же самое. Это было уже не просто странно. Это было тревожно. Непонятно, тревожно. Что-то, видимо, произошло... Не хотелось так думать, хотелось бы, чтобы все как всегда, но думать так не получалось.

На третий день, набравшись храбрости, после школы он зашел к корешу. Дверь открылась сразу, и он увидел, что прихожая и там, чуть подальше, где начиналась комната корешевой мамаши, были полны народу. Сплошь незнакомые, серьезные, не-приветливые. Взрослые. Они и сказали, что кореша нет. Отвечали с высокомерной досадой, они как будто что-то знали. Он толькоглядел в прихожей знакомую-презнакомую сумку — «Олимпиада-80».

Он без слова ушел.

Ясно было, что что-то случилось. Но что?

Выйдя из корешевой парадняка, он не понял, куда ему теперь идти. Домой не хотелось абсолютно. Вообще не сиделось на одном месте. Он сел на автобус и поехал куда глаза глядят. Однако надо было где-то выходить. Он и вышел, где не был года как бы не два.

Места были узнаваемы, но кое-что все же изменилось. Он пошел неопределенно бродить по тем местам, не всегда сразу их узнавая. Делать было нечего, но и домой ехать не хотелось. Хотя нет. Вон новая детская поликлиника — на совесть отгроха-

ли, здоровая, типа современная. Он вспомнил свою старую, к которой приходилось пробираться дворами, а потом еще разглядывать: она, не она? Открылся новый книжный магазин. Он и туда зашел, нового ощущения ради, не глядя на книги. А, вот! Кулинария. Тут когда-то продавались славные молочные коктейли. Но и кулинария была радикально перепрофилирована, изнутри бы он ее не узнал. По-прежнему продавали какую-то жратву, но от коктейлей и следа не осталось. И это было единственное, что его немного опечалило.

Ходить надоело. Он сел на что-то там. Мимо проходили люди. Он глядел на них и ощущал, насколько они сейчас далеки от него. Будто в зоопарке он был, отделенный невидимой стеной. А может, это они в зоопарке...

Это ощущение было необычным и каким-то горьким. Реальность куда-то уходила... А он сидел и сидел, и не вполне реальным было все: и люди, и этот подзабытый район, и, главное, он сам.

Он был хмур. Радоваться было нечему.

Потихоньку стало темнеть и свежеть. Он сел в автобус и поехал назад, откуда приехал.

Чувствуя себя наглецом, он таки еще раз зашел к корешу. Вовсю был уже вечер.

Открыл кореш.

— Отец помер, — сказал он. И криво, с усилием улыбнулся.

И вот он сидит дома один, с горящими люстрами и ветром за окном. Это было не только в очередной раз обострившееся чувство утраты и собственной ненужности; его мучил вопрос: почему? Что, собственно, случилось? У друга появилась девушка. И что? Дело вполне житейское. Но откуда тогда такая боль? Если болит так сильно, значит, случилось что-то важное, в этом он был уверен. Но что именно важное, он не понимал, тогда он не мог понять.

Он хоронил, он оплакивал свой пацанский мир, в котором еще доживало детство. Игра в войнушку или в футбик, прыжки с высоты, взрывание карбида, стрельба из рогаток, лазание по деревьям и по стройкам — ничего этого давно уже не было, но будто бы какой-то дух тех славных времен все еще не покидал его, внешне никак не проявляясь. В этом мире все было ясно, просто, прямо. Пылкие дружбы и пылкие ненависти. Такие же игры или драки. Всяческие мальчишеские приключения, вlipалова и попадалова с последующими вызовами к директору или родителям в школу — после этих приключений, отбоявшись свое и получив по башке, можно было ходить, гордо глядя миру в глаза. Даже шустрилы, темники, выпендрежники и гады были какими-то понятными, без полутонов. Тот мир был замкнут, он не нуждался в дополнениях.

Там не было «девчонок», а мир с женщинами — и это он как-то сразу понял — был совсем не таким, к какому он привык, в котором чувствовал себя так естественно и комфортно. Но достаточно было корешу сбежать к подружке, как он понял: все. Его привычный, его единственный мир затонул, испустив последний пузырь, и теперь жизнь никогда не будет такой, какой была еще так недавно.